

И. А. БУНИН
(1870 – 1953)



ИОАНН РЫДАЛЕЦ

Есть новая станция Грешное, есть старое степное село того же имени.

На станции останавливается и в летние дни юго-восточный экспресс. На станции голо и скучно. Казённый кирпичный вокзал ещё слишком красен. Платформу заменяет песок. Переходить по песку к вокзалу трудно, да и зачем? Вокзал пуст и гулок, нет ещё в нём ни буфета, ни книжного киоска. А поезд великолепный. Из открытых окон тяжелых запыленных вагонов глядят богатые люди, едущие на Кавказ: знаменитый чудовищно толстый артист в шелковой серой шапочке, чёрная красивая дама с лорнетом, персиянин из Баку, не сводящий с неё сонных глаз, худой англичанин с трубочкой в зубах, молча и внимательно осматривающий эти необозримые равнины, которым не уступают только прерии... По доскам, вдоль поезда, медленно прогуливается широкий старичок-генерал с маленькими ножками и делает рассеянный вид, втайне наслаждаясь однако, и тем, что у дверей вокзала вытянулся перед ним жандарм, и тем, что вот едет он, генерал, в дорогом поезде на воды и гуляет с открытой головой, скромный, спокойный за свое достоинство и во всех отношениях порядочный. Возле пахнущего кухонным чадом вагона-ресторана, за зеркальными стёклами которого пестреют цветы на белоснежных столиках, стоят

бритые лакеи во фраках с золотыми пуговицами, потный повар, поваренок, – все как будто те же самые, что видел англичанин и в Египте, и на французской Ривьере. А громадный американский паровоз, весь горячий и блестящий маслом, сталью, медью, дрожит от клочущей в нём силы, нетерпеливо сдерживая её. Шумит рукав водокачки, наполняя глубокий тендер... И вот вода уже переливается через края, торопливо бьют в колокол у дверей вокзала, генерал, звеня серебряными шпорами, спешит в свой вагон...

Поезд скрывается в степи. Мужик, неизвестно зачем приходивший на станцию, долго стоял на песке и думал: «Вот уйдёт машина, пойду и я помаленьку...» Глядел на мужика англичанин, дивясь его шапке, полушубку и первобытной густоте бороды, слинявшей на солнце. Глядел и мужик на англичанина, но рассеянно: селу нет никакого дела до поезда. Когда поезд скрывается, мужик, безо всякого желания, с притворным наслаждением крякая, выпивает две кружки теплой воды из станционной бочки, вытирает рукой рот и бредет домой. Бредет он не спеша: время неопределённое, ни дневное, ни вечернее – в такую пору делать нечего, думать не хочется, да неопределённая и погода: зашло солнце за облачко – не жарко и в полушубке, хотя, конечно, можно было и не надевать его... Дорога от станции к селу пролегает по выгону, мимо большой княжеской усадьбы и каменной церкви, что напротив неё, на погосте. Поравнявшись с церковью, мужик снимает шапку и крестится, низко кланяясь: за оградой церкви, возле алтаря, рядом с могилой князя, ссорившегося с самим царём, почивает блаженный, Христа ради юродивый, Иоанн Рыдалец.

Княжеская усадьба, конечно, старая, давно всеми забытая: не обитаем её дом, чёрен и дик сад. Погост – голый, бугристый. Церковь по камню крашена тёмно-коричневой краской. В ограде её немало рассеяно широких чугунных плит. А как раз возле окон алтаря высятся два огромных кирпичных гроба, тоже прикрытых плитами. И с великим удивлением прочтёт всякий, не знающий преданий села Грешного, отлитые на этих плитах имена под ними покоящихся: на одной – имя князя и вельможи, а на другой – раба его, землянского крестьянина Ивана Емельянова Рябинина. Так

и сказано: крестьянин такой-то, родившийся и умерший тогда-то, а ниже: Иоанн Рыдалец, Христа нашего ради юродивый. Князь, вельможа, только перед самой кончиной примирился с Богом и людьми. И, по княжескому желанию, ничто, кроме имени и начала покаянного псалма Давида, не украсило княжеской могильной плиты. Плита же юродивого, не выразившего никаких предсмертных желаний, украшена стихами и одним из любимейших плачей его: «Юрод, неряшен миру он казался», – говорит строфа, посвященная его памяти неизвестным поэтом. А под нею отлиты те горькие и страшные слова пророка Михея, с которыми и умер юродивый: «Буду рыдать и плакать, буду ходить, как ограбленный, буду выть, как шакалы, и вопить, как страусы!»

Те, что едут в экспрессе на воды, знают о князе – из книг. А в селе Грешном образ его смутен; село знает только то, что лет сто тому назад приехал он доживать свой век в грешинской глуши, что мал ростом и чудён был он, что странными поступками ознаменовал он свой приезд. Доложили ему рано утром в день Нового года, что пришел священник с причтом. «Позвать его в залу», – сказал князь – и долго заставил ждать себя. Выйдя же внезапно из боковой двери, в эту высокую холодную залу, ещё не бритый, в сафьяновых сапожках и халатике на заячьем меху, отрывисто спросил священника: «Зачем, сударь, пожаловал?» Священник оробел, смущенно ответил, что желал бы совершить служение. И князь, едко засмеявшись, будто бы сказал ему: «Так служи мне, сударь, в таком разе панихиду». – «Но осмелюсь спросить ваше сиятельство: по ком же?» – «А по старому году, сударь, по старому году!» – сказал князь – и сам подтягивал причту, не дерзнувшему послушаться... В этот-то день и отдано было первое приказание – дать полсотни розог Ивану, с плачем и лаем выскочившему из ельника на князя, на разметённую аллею, по которой гулял князь.

Те, что ездят мимо станции Грешное на богомолье, на поклон угоднику воронежскому, про угодника грешинского даже и не слышали никогда. В селе же Грешном вот что про него рассказывают. Рос, говорят, Ваня в семье честной и праведной, у родителей своих, выселённых князем под Землянск-город. С ранних лет полюбил он

Писание. Мать настаивает, отец кланяется: женись, сынок! А он плачет, рыдает, просит себе от Бога видение, на Афон собирается. Вышло ему в видении испытание: послухаться отца. Встал он на ране, дал отцу полное согласие. Сыграли свадьбу, положили молодых в отхожую спальню, а они друг дружки не коснулись, вышли оба заплаканные. Сел Ваня опять за своё, за всякое священное письмо, а день хороший, морозный, за ночь снег выпал, виден следок везде: все к обедне пошли, пошла и молодая с новыми родными, только Ваня один дома, не пожелал и в церковь пойти. И видит в окно: подъезжает к окну попов работник в новых розвальнях, на вороном коню: лошадь отличная, поповская, хлебная. Подходит работник, стучит кнутовищем: «Ваня, велел тебе отец в церковь ехать, взять с собою лапти новые и денег двадцать копеек». Ваня говорит: «Да я не знаю, где деньги у отца». – «А за образами», – говорит попов работник. (По нашей местности всегда так – какую записочку, поминание – все туда кладут, а допрежь и деньги класть не боялись.) Нечего делать, достал Ваня деньги, надел армячок, вышел, сел в сани на коленки, поехал по селу, увидел на горе храм Божий, сказал: «Господи Иисусе...» И только сказал – глядь, сидит он в степи, в поле, на снегу, на морозе, разут, раздет, новые лапти на ногах, старые осметки на верёвке через плечо, а сам плачет-рыдает. Узнали о том на селе, наладили подводу за Ваней, хотят на сборню везть, думали – бродяга какой, а он плачет, рыдает, на всех, как цепной кобель, кидается, сам кричит на всё поле: «Буду, буду ходить, как ограбленный, буду вопить, как штраусы!» Ну, конечно, навалились всем миром-собором, связали, повезли, а навстречу отец идёт: пришёл, говорит, от обедни, вижу, сына нету, а видать чей-то пеший след пробит за гумна, за овины; пошёл я, говорит, по этому следу: вижу, лапти новые, а след от одной ноги до другой – более трёх сажен...

Село Грешное этим и кончает житие святого. А смутно помнят его лишь старухи, дожившие свой долгий век в княжеской мёртвой усадьбе. Всю жизнь свою, говорят они, Иван скитался и непристоен был. Он долго сидел на железной цепи в отцовской избе, грыз себе руки, грыз цепь, грыз всякого, кто к нему приближался, часто

кричал своё любимое: «Дай мне удовольствие!» – и был нещадно бит и за ярость свою, и за непонятную просьбу. А сорвавшись однажды, пропал – и объявился странным, пошёл по деревням, всюду с лаем и оскаленными зубами кидаясь на господ, на начальников и в слезах вопя: «Дай мне удовольствие!» Был он худой, жилистый, ходил в одной длинной рубахе из веретья, подпоясывался обрывком, за пазухой носил мышей, в руке – железный лом и ни летом, ни зимой не надевал ни шапки, ни обуви. Кровавоглазый, с пеной на губах, со всклокоченными волосами, он гонялся за людьми, – и люди, крестясь, бежали от него. Был он поражен какой-то болезнью, все лицо его покрывавшей белой известковой коркой и сделавшей еще ужаснее его алые глаза, был особенно яростен, когда пришел в Грешное, прослышав о приезде князя. Приказав отнять у него лом и при себе выпороть, – конюхи плакали, растягивая Рыдальца, с воплями кусавшего их, – князь сказал: «Вот тебе, Иван, и удовольствие. Я бы мог тебя в кандалы заковать и в тюрьме сгноить, да я, сударь, не злобен: гуляй себе, проповедуй, ори, токмо меня не ондируй. А ежели ты не уймёшься, то я неуклончиво буду доставлять тебе то самое удовольствие, о коем ты кричишь, уподобляя себя штраусу». И так как Иван не унялся, почитай каждую неделю прежде всего пугал князя, выскакивая из-за углов и запуская в него мышами, то и таскали чуть не каждую неделю люто оравшего Рыдальца на конюшню...

В старом селе Грешном скоро забывают прошлое, быль скоро претворяют в легенду. Ивана Рыдальца запомнили надолго только потому, что на самого князя восставал он, а князь всех поразил своим предсмертным приказанием. Он, когда ему, больному и иссохшему, доложили о кончине Ивана, умершего в поле, в дождливую осень, твёрдо сказал: «Схороните же сего безумца возле церкви, а меня, вельможу-князя, положите рядом с ним, с моим холопом». И стал Иван Рябинин Иоанном Рыдальцем, и видится он селу Грешному, точно в церкви написанный – полунагой и дикий, как святой, как пророк.

На станции Грешное каждый год, осенью, сходит с экспресса и направляется к церкви, сопровождаемая начальником станции,

некрасивая, худая дама в трауре с красивым тонконогим корнетом под руку. У церковной ограды с поклонами встречает их полный священник в чёрной ризе и дьячок с кадилом. Над полями тянутся низкие тучи, дует сырой ветер. Но священник и дьячок стоят с обнажёнными головами. А входя в церковную ограду, обнажают головы и корнет, и начальник станции, следующий позади всех и спокойным видом своим дающий понять, что идёт он только ради вежливости. Сзади всех, спокойно и вежливо, стоит он и тогда, когда начинает развеиваться по ветру пахучий кадильный дым над страшными кирпичными могилами и обходит их, кадя и поклоняясь, возглашая вечную память князю и рабу его, священник. Корнет молится рассеянно. Он, юный, красиво наряженный, выставляет острое колено, крестится мелкими крестиками и склоняет маленькую головку с той же доведённой до конца почтительностью, с которой кланяются святым и прикладываются к ним люди, мало думающие о святых, но всё-таки боящиеся испортить свою счастливую жизнь их немилостью. Но дама плачет. Она заранее поднимает вуаль, опускаясь на колени перед могилой Ивана Рябинина, – она знает, что сейчас навернутся на глаза её слезы. «Юрод, неряшен миру он казался», – читает она на гробовой плите. И слова эти трогают её. А страшные слова пророка Михея, упоминание шакала и страуса, внушают трепет и тоску. И она сладко плачет, стоя на коленях, опершись одной рукой, в перчатке, на тонкий зонтик, а другой – голубой, прозрачной, в кольцах – прижимая к глазам батистовый платочек.